

**Л.А. Кассиль**

**Великое противостояние**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-053.2  
ББК 84-4  
К28

К28

**Кассиль Л.А.**

Великое противостояние / Л.А. Кассиль – М.: Книга по Требованию, 2024. – 212 с.

**ISBN 978-5-458-03399-2**

«... И вдруг я заметила, что по другой стороне моста медленно ползет красивая приземистая зеленоватая, похожая на большого жука-бронзовку машина. Перед у нее был узкий, сверкающий, пологие крылья плотно прижаты к бокам, вытянутые фары словно вросли в туловище машины. Машина медленно ползла по мосту. В ней сидело двое. Когда машина поравнялась со мной под большим фонарем моста, мне почудилось, что люди в машине смотрят на меня. Машина медленно прошла дальше, но вдруг повернула круто, быстро скользнула на другую сторону моста и пошла мне навстречу. У меня заколотилось сердце. Бесшумно подкатив, машина остановилась недалеко от фонаря. Сидевшие в ней бесцеремонно разглядывали меня., — Она? — услышала я негромкий голос., — Она, она, Сан-Дмич, пожалуйста. Чем не Устя?, — Всюду вам Устя мерещится!, — А безброва-то, безброва до чего!, — И конопатинки просто прелесть. А? Мадрид и Лиссабон, сено-солома! Неужели нашли?, Я боялась пошевельнуться, у меня не хватало духу еще раз оглянуться на машину. Я стояла, замерев у перил, схватившись за них обеими руками. Я слышала, как за моей спиной хлопнули дверцы машины. Тихие шаги послышались позади меня., «Уж не шпионы ли?» — подумала я. ...»

**ISBN 978-5-458-03399-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2024  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024  
© Л.А. Кассиль, 2024

Лев Кассиль  
Великое противостояние



# Книга первая

Моя Устя

## Глава 1

Очень обыкновенно

«Теперь я уже могу судить окончательно, что жизнь мне не удалась. Сегодня мне стукнуло полных тринадцать лет. Это уже очень порядочно. И за всю мою жизнь у меня не было ни приключений, ни увлечений и вообще никаких интересных случаев...»

Так написала я в своем дневнике утром 30 апреля 1938 года, не подозревая, что уже вечером меня смутит очень странное происшествие.

Да и чего хорошего можно было ожидать в жизни, когда веснушки в этом году выступили у меня еще раньше, чем снег успел сойти... И как мне было не обижаться на судьбу, если перед самым Первым мая я по математике опять еле-еле натянула на «посредственно», а это грозило стать годовой отметкой — третьим «посредственно» за год.

Все это было, впрочем, совсем не удивительно, и никого в школе не поразило, что опять Крупицына получила «пос» по математике. «Ну что ж, очень обыкновенно», — говорили у нас в классе. «Очень обыкновенно», — сказала и я, так как это давно стало моей любимой поговоркой.

Все у меня было очень обыкновенно. Я была на среднем счету в школе, а на таких привыкли не обращать внимания. Мне иной раз даже думалось, что интереснее было бы уж числиться в отстающих: о них разговора было не меньше, чем об отличниках. Отличниками хвастались на школьных вечерах, упоминали о них в рапортах, сообщали в районный отдел народного образования, рисовали в стенгазетах. Ну, а «плохастых», как называли у нас в школе отстающих, выправляли, подтягивали, ликвидировали, повышали. Чего только с ними не делали! Лишь про нас, посредственников, и сказать было нечего. Учились мы так, серединка на половинку, радости и чести от нас было немного, но и хлопот мы особых не требовали. «Ни два ни полтора, свободно плавающее тело» — как острял у нас в классе Ромка Каштан. Я давно к этому привыкла, как свыклась с тем, что и дома у нас я никому ни особого горя, нишибко большой радости не доставляла. Разве только отцу...

Яросла последышком.

Старшей сестре, Людмиле, было уже девятнадцать лет, брату Георгию пошел шестнадцатый, детей уже не ждали, и тут родилась я. Еще до рождения меня, должно быть, считали какой-то лишней, нечаянной. Давно уже пошли на платки и тряпки все пеленки, а что осталось, мать отдала в хозяйство Людмиле, и пришлось все заведение начинать съзнова. И мама, верно, порастратила свои заботы и ласки на старших. Мне уже мало досталось.

Меня все продолжали считать дома маленькой, несмышленышем. Не считаясь с тем, что я слышу и давно уже все понимаю, при мне громко говорили, как о семейной неудаче:

— Иссякла, видно, наша порода. Неказиста растет... В кого такая? И нос — словно мухи засидели.

Только отец был ласков со мной.

— Будя вам девчонку хаять! — сердился он. — А ты, Сима, скажи: «С носа немножко спроса. Была бы душа хороша да голова здорована, на своем месте». Верно, Симочка? Ты им не верь, ты меня спроси, я тебе правду скажу... А что, говорят, веснушками-то это закапано, это ничего: значит, солнышко тебя любит и отметинки наставило. Поди сюда, дочка, не слушай их.

Отец не видел моих веснушек, он не мог их видеть: во время мировой войны у него были обожжены на фронте глаза, он носил темные очки и с каждым годом видел все хуже и хуже. Ему пришлось оставить завод, где он работал слесарем. Слепота надвигалась на него и уже почти настигла, но он не хотел сдаваться, ходил твердо и быстро, хотя и натыкался иногда на стул, поставленный не на обычном месте, на дверь, которую кто-нибудь затворил не вовремя.

Маме приходилось трудно. Она брала на дом работу, чинила белье. Отец получал пенсию и работал теперь в инвалидном товариществе «Технокнопка»; там делали конторские скрепки, зажимчики, кнопки, ляпски для башмачных шнурков. Брат Георгий, который работал техником по орошению в Туркмении, присыпал нам немного. Так мы и жили.

Отец ходил чисто, в черной сатиновой косоворотке под пиджак. Он был очень аккуратен. Каждую вещь, взяв, ставил потом точно на место, а когда закуривал, старался не просыпать на стол и на всякий случай пальцами пробовал, не осталось ли крошек табаку на скатерти. Он носил короткие седые усы, и я ему сама подравнивала их к празднику. Я и брила его сама — мне это очень нравилось. Отец сидел терпеливо и не морщился даже тогда, когда я, стараясь выбрать как можно чище, изрядно царапала ему подбородок.

— Ничего, ничего, дочка, режь, действуй, — успокаивал он меня. — Мне самому не видать, значит, не страшно. А другие пусть не глядят. Верно я говорю?

Радио было его страстью, и, несмотря на слепоту, он сам собрал дешевенький двухламповый приемник. Наушников у нас была всего одна пара. И часто вечерами сидели мы с отцом в уголке, тесно прижавшись, плечом к плечу, ухо к уху, наслаждаясь только нам одним слышной музыкой.

Канун и полдня своего рождения я провела в тревоге и смутном ожидании. Меня взбудоражила таинственная история, которая произошла накануне.

Я стояла у ворот и смотрела, как украшают к Маю большое соседнее здание, и вдруг почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Я оглянулась и увидела высокого чернявого человека, который стоял на углу и внимательно разглядывал меня. Одет он был как иностранец, на нем был непривычного покроя костюм с прямыми плечами, из-под низких шаровар виднелись клетчатые чулки. В тот момент, когда я обернулась, мне показалось, что он собирался сфотографировать меня: я заметила у него в руках маленький аппарат «лейку». Он уже совсем было прицелился, но, должно быть, заметил, что я смотрю на него, и стал снимать рабочего, устанавливавшего портрет Фридриха Энгельса на крыше учреждения.

Меня смущило, почему этот человек так уставился. Я нарочно отвернулась, но потом не вытерпела и снова неожиданно взглянула на него. Он стоял и все так же внимательно разглядывал меня. Мне стало смешно, я показала ему язык и ушла во двор. Я бы совсем забыла об этом глазастом невеже, если бы вечером дворника Танька не сказала мне:

— Симка! А тебя тут какой-то дядька добивался. Подошел, весь в заграничном, и спрашивает: «Что это за девочка здесь выходила?» — «Какая, говорю, девоч-

ка?» — «А такая: две косички и веснушки такие симпатичные...» А сам, гляжу, в шерстяных чулках... Ну, я и сказала. «Это, говорю, Симка Крупицына из четвертой квартиры». А он говорит: «Ах, из четвертой квартиры? Очень приятно. Извините за беспокойство». А я говорю: «Пожалуйста, ничего не стоит». Он и ушел. В желтых таких полботинках...

Я долго ломала голову: что надо этому странному и любопытному человеку? Кто знает, может быть, это какой-нибудь знаменитый чудак путешественник и он просто хотел расспросить у меня, как живут в нашей стране простые, обыкновенные девочки?.. А потом вдруг бы взял чудак да и подарил билет в кино или модную ручку-вставочку... Но почему ему так приятно, что я из четвертой квартиры? Я несколько раз выходила утром на улицу посмотреть, не ходит ли поблизости тот чернявый, вчерашний.

Но никого не было. Я решила, что этот человек, должно быть, спутал меня с какой-нибудь похожей на меня девочкой. Вот и все. Разве могут быть у меня какие-нибудь приключения! Мне даже обидно стало. Но на всякий случай я и перед обедом выбегала на улицу поглядеть. Нет, никого не было на углу. Я почувствовала досадливую скуку.

Ради дня моего рождения мать испекла пирог с курагой, а отец купил бутылку сладкой «Облепихи». День был предпраздничный и выходной, мы ждали гостей. Должна была прийти старшая сестра, Людмила, с мужем. Сестра считалась у нас в семье самой удачливой. Муж ее, настройщик Арсений Валерианович Свинчатов, нудный и долговязый, называл себя музыкантом-техником по инструментальной части. Мудреная прическа его, с пробором где-то поперек затылка и венчиком, выведенным наперед, на скрываемую лысину, занимала меня с детства. Мы с мамой считали Арсения Валериановича человеком ученым. Мама даже гордилась зятем. Потому с нами он говорил снисходительно, вполголоса, прищурившись и слегка склонив голову набок, словно проверял наши слова на свой слух. При этом любил барабанить костяшками пальцев по краю стола. Только отца раздражали и этот стук, и снисходительная манера говорить. Он не любил настройщика, называл его заочно Скрипичным Ключом или Камертоном Пирамидоновичем.

У отца самого был очень острый слух. И сегодня он первый расслышал на лестнице шаги гостей:

— Иди, мать, встречай. Людмила следует со своим Камертоном.

Людмила вошла к нам, большая и нарядная, и сразу наша комната с зеленоватыми и словно пропотевшими обоями, с потолком, желтым, как бумага, долго лежавшая на солнце, с крымским видом в рамке из ракушек и большим гипсовым Наполеоном на комоде, доставшимся нам от покойной тетки, — сразу наша комната стала тесной для Людмилы, для ее проворных круглых рук, раскатистого голоса.

— Что это у вас как грязно, мама? Накидано всюду, — говорила Людмила, тотчас принимаясь передвигать стулья, смахивать какие-то бумажки со стола.

— Я одна за всеми... — ворчливо отзывалась мама. — На хозяйство одной пары глаз разве хватит? А от других только мусор... Андрей, высыпи пепельницу... Сима, подмети тут.

— Да, бледно живете, неблагоустроенно, — поддакивал настройщик. — Хоть бы аквариум завели, что ли.

Но отец уже нарочно ущемил голову наушниками радио, чтобы не слышать обычных и всем надоевших изречений Камертона.

— Вы бы хоть, что ли, рупор приобрели, точку взяли по сети, раз уж такой любитель, — невозмутимо и медленно, как всегда, продолжал настройщик.

Отец высвободил одно ухо из-под черной эбонитовой чашечки:

— А возможно, я не желаю на проводе ходить у других, я привык от себя зависеть, самостоятельно.

Настройщик подмигнул мне, махнул рукой в сторону отца — дескать, что с чудаком спорить. Потом вдруг осторожно хлопнул себя по зачесу:

— Да, хорошее дело, главное-то забыл!.. С новорожденной вас, мамаша... Симочка, позовите вас поздравить. Вот примите. Подрастайте и благоухайте.

Он вынул из кармана сверточек, развернул бумагу и вручил мне маленький флакон духов «Фиалка».

— «Серафима — вот она какая, Серафима бойкая, живая, Серафима — с нею не шути...» — запел он.

Людмила звонко расцеловала меня в щеки.

— Жаль, Симочек идти скоро, — предупредила мама, — к Таточке приглашенная. В один день рожденные.

Я действительно собиралась идти к Тате Бурмиловой. На самом деле день рождения Таты уже прошел позавчера, но я уступила ей лучший день — выходной. Ей все и всегда уступали: лучшую парту в школе, самое удобное место в кино, поближе к середине, самое красивое пирожное на противне в буфете, самую лучшую сводную картинку в писчебумажном. И, конечно, не потому, что отец Таты был начальником большого учреждения, — просто в классе любили веселую, красивую мою подружку. И мама моя тоже была довольна нашей дружбой с Татой, которая всюду водила меня за собой, хотя некоторые наши сплетницы-завистницы и язвили, что, мол, Бурмиловой очень к лицу чужие веснушки...

Попив чаю, поев именинного пирога с курагой, я пошла за шкаф переодеваться, надела самое лучшее, поплиновое платье, перешитое из старого Людмилиного. Сестра заглянула за шкаф и сама взялась обряжать меня. Она усадила меня перед зеркалом, забегала, захлопотала вокруг, укололась булавкой, высосала палец, разожгла примус, положила греть щипцы для завивки — компас, как она называла их.

— Эх, Серафима, Серафима, — болтала она, вплетая мне ленты в косы, — я в твои годы не такая была, я уже в это время вся выровнялась... Ну, ты сиди, сиди, не дергайся, а то я тебя прижгу компасом. Дай я тебе немножко еще на височках взобью.

В зеркале отражалось окно, а там, за окном, крыша большого дома напротив, и на ней уже стояла огромная красная единица и рядом две буквы — «М» и «А». Должно быть, «Я» еще не подняли. И, когда я увидела улицу, которая прибиралась к празднику, я вдруг вспомнила опять, что произошло накануне. А Людмила все хлопотала вокруг меня, перевязывала в сотый раз банты, подкалывала плечи, подшивала воротник.

— Ну, можешь отправляться, Симочка, — наконец сказала она. — Я из тебя прямо картинку сделала. Мальчишки-то как, изредка внимание обращают, записки пишут, поди?

— Да ну их совсем! Я одного вчера после немецкого языка так треснула,

будет знать!

— Вот бояська! Как же это ты?

— Очень обыкновенно. Теперь узнал ума.

— Это еще что за выражение, Серафима? — прикрикнула на меня мама по ту сторону шкафа. — Чтоб я не слышала больше!

Прежде чем выйти на улицу, я загадала перед калиткой: вот если сейчас опять встретится этот странный человек, значит, у меня в этом году будут в жизни какие-нибудь важные происшествия. Я плотно зажмурилась, вышла через калитку на улицу, открыла глаза и осмотрелась. На углу, как всегда окруженный мелюзгой, торговал ирисками лоточник. Было по-праздничному пустовато, и на мостовой посреди улицы, пяясь, ходили управдомы и коменданты. Задрав голову, они делали руками сложные таинственные знаки кому-то на крыше, дирижируя развеской первомайских украшений. И над улицей медленными толчками возносилась повисшая на веревках огромная и чванливая буква «Я».

Внимательно осмотрела я улицу из конца в конец. Нет, никого не было, никто не следил за мной. Все было очень обыкновенно.

## Глава 2

«На кого вы похожи?»

— Ребята, Крупицына своей персоной явилась! Завилась! Кудри штопором!

Все вылетели в переднюю и окружили меня. Тут был и Ромка Каштан, мой старый недруг, тот самый, кого я ударила вчера после немецкого. Были здесь и Катя Ваточкина, и Миша Костылев, и Соня Крук — все наши. Тата, в новом платье, которого я еще не видела у нее, схватила меня за локти и закружила:

— Симочка, Симочка, поздравляю!

— И тебя тоже!

— Ну, меня с прошедшим уже... Идем, идем, ты должна тоже написать что-нибудь.

Толкаясь в дверях, мы ввалились в столовую. Я слышала, как за моей спиной Ромка Каштан насмешливо процедил:

— Завилась, а при галстуке, как на сбор.

— Хватит тебе дразнить ее! — шепнул кто-то, кажется Катя.

На столике перед диваном лежала толстая тетрадь. Все окружили столик, подталкивая меня:

— Пусть и Крупицына напишет!

Я взяла тетрадь. На первой странице ее было крупно выведено: «Прошу писать откровенно».

Я уже слышала, что в школе в старших классах ребята завели такой вопросник. Там наставили разные вопросы о нашей жизни, настроении, о дружбе, о любви, и каждый должен был писать тогда все начистоту и без утайки. И наши девчонки, видно, собезьянничали у старших.

«Когда вам бывает скучно?» — прочла я. Под этим на странице разными почерками, среди которых я увидела много знакомых, были записаны ответы:

«Тогда, когда у меня плохое настроение».

«В нашем государстве не бывает скучки».

«У Сони Крук не бывает скук...»

Кто-то сунул мне в руку химический карандаш.

— Внимание! У нашего микрофона Крупицына! — провозгласил Ромка.

И я написала:

«Мне бывает скучно, когда ко мне плохо относятся. И потом, от глупых острот мне тоже скучно».

— Ого! — многозначительно сказал Ромка Каштан.

«Кого или чего вы больше всего боитесь?» — было написано на второй странице.

«Никого и ничего не боюсь».

«Мне еще незнакомо жалкое чувство трусости».

«Боюсь пьяных, зачетов и мышей».

«Иногда побаиваюсь собак, несмотря на возраст».

— На чей возраст, — спросила я, — того, кто написал это, или щенячий?

Тут я заметила, что Катя покраснела, и поняла, что это написала она.

«Никого и ничего не боюсь, кроме сплетен и сплетниц», — прочла я дальше и узнала почерк Ромки Каштана.

«Мстительны вы или нет?»

«Смотря за что и кому. Мщу редко, но метко. Но я еще не всем отомстил, кому мне следует мстить...»

Это опять почерк Ромки.

Я быстро перелистала тетрадь. Мне не хотелось отвечать на эти вопросы сейчас же, при всех.

«Можете ли вы пожертвовать собой?»

«Если этого требует близкий человек или дело, то, конечно, да».

«Думаю, что могу, если надо будет».

«Для Родины, для любимых друзей всегда и всем, даже жизнью (для Родины)».

Мне тоже захотелось написать здесь именно такой ответ, но тогда надо было бы отвечать уже на все вопросы, а их было очень много. Тетрадка спрашивала и о том, кого я больше всего люблю на свете, и о том, что мне нравится во владельце тетрадки, то есть в Тате, — эта страница целиком была заполнена всякими похвалами Тате: ум, красота, глаза, волосы, веселый нрав, хороший характер. Потом надо было еще написать, каков у меня характер (*отвратительный!*), что лучше — откровенность или скрытность (*скрытность*), чем увлекаюсь (*еще не знаю*), с кем я хочу дружить (с *Татой*), есть ли у меня враги (*Ого! А Ромка?..*), кто моя симпатия (*нет еще*), довольна ли я жизнью (*своей — не совсем*) и о чем я мечтаю (*совершить какой-нибудь подвиг для людей и купить пуховый берет, как у Таты*).

— Я лучше потом напишу.

— Нет, нет, надо сейчас! — закричали все.

Тата пришла мне на помощь:

— Она очень долго писать будет. Давайте лучше играть во что-нибудь или потанцуем.

Тата села за пианино. Девочки танцевали друг с другом, мальчишки стояли, заложив руки назад, ладонями упираясь в стену, и презрительно глядели на танцующих.

Ромка стал изображать учителей, очень ловко копируя математика:

— А ну-ка, допустим, это выражение пусть попытается упростить нам, допу-

стим, Крупицына Серафима.

Это он, разумеется, нарочно выбрал меня, чтобы напомнить всем, как я накануне плавала по математике.

Потом стали играть «в мнения». И конечно, первой выпало уходить в другую комнату мне.

Я стояла в передней и слышала, как за закрытой дверью перешептываются, взвизгивают от восторга, сговариваясь и предвкушая.

— Не надо, она еще обидится, — услышала я чей-то шепот.

— Нечего тогда играть, если обидится...

Опять перешептывание, хотят. Наконец меня позвали...

Я вошла. Все сидели важно, составив полукругом стулья. Объявлял Ромка Каштан.

— Ну-с, — сказал он, — пожалуйте сюда... Был я на балу, сидел на полу, ел халву, слышал про вас такую молву. Говорят, что вы похожи: первое — на «точка, точка, запятая, минус — рожица кривая». Это раз. Другие говорят, что вы похожи на... на неправильный глагол. Слышал я еще, что вы похожи неизвестно на кого, потому что сегодня сами на себя не похожи.

«Это сам Ромка придумал», — решила я.

— Некоторые уверяли, что вы похожи на осиное гнездо.

«Нет, верно, это Ромка», — подумала я. — Ладно, дождусь и я своей очереди загадывать!»

— Были там на балу и такие, что говорили, будто вы похожи на промокашку в кляксах. Потом еще на курочку рябу. На пустое решето. И на серо-буро-малиновое в крапинках.

— Это ты, Ромка, сказал сам! — закричала я.

— Нет, нет, не угадала! Иди еще раз!

Все вскочили, захлопали в ладоши. Мне вдруг стало так обидно, что у меня даже как-то странно голос сел, когда я медленно сказала:

— Если так, то, чур, не игра. Вы сговорились нарочно... Это стыдно с вашей стороны... так...

Я хотела что-то еще добавить, но обида стянула мне губы.

— Брось, Симка, на то игра!.. Шуток не понимаешь.

— Это уже не шутки.

Тата подбежала ко мне, схватила за руку, но я вырвала руку, резко повернулась и вышла в переднюю. Тата бросилась за мной:

— Что ты, Симочка! Неужели ты обиделась?

Но я уже ничего не могла сказать, я только боялась, как бы мне не зареветь, и, оттолкнув Тату, рванула цепочку на дверях, откинула крючок, выбежала на площадку лестницы и быстро спустилась на улицу. Дома у нас никого не было, наши ушли в гости. Я достала ключ, отперла комнату, послонялась немного из угла в угол, не зная, чем заняться, что делать с собой.

Ну вот, я рассорилась со своими подругами. Так и надо! Оказалось, они все ко мне плохо относятся, нечего тогда и дружить с ними.

Да, плохо, скучно и обидно прошел день моего рождения.

Из зеркала смотрела на меня обиженная и нескладная девчонка в нарядном платье, с завитушками на висках, с большими бантами на тощих косичках. Пора было бы уж этой девчонке бросить обижаться на дразнилки. Я подошла к своей

этажерке и сняла с нее большую заветную папку. В ней у меня были собраны вырезанные из газет и журналов портреты разных знаменитых девушек. Я их коллекционировала. У меня уже много накопилось — толстая папка. Тут были храбрые парашютистки и прославленные летчицы, знатные доярки и премированые бригадирши, известные киноартистки и учительницы, чемпионки-бегуньи и военные фельдшерицы. Я разложила вырезки на столе и долго смотрела на улыбающиеся лица знаменитых девушек. Вот и они ведь не все красавицы. Вот эта совсем курносая, а у этой вон какие маленькие глаза, а эта ужасно какая толстуха. А ничего, видно, счастливые, и жизнь у них славная, и портреты напечатаны в газетах, народ их уважает, и дома гордятся ими. Нет, красавиц среди них оказалось не так уж много.

В открытое окно доносился шум вечерней улицы, громкие неторопливые шаги по тротуару; люди шли не спеша, прогуливаясь. И мне очень захотелось потолкаться среди прохожих, быть с людьми. Я накинула пальто, заперла дверь, положила ключ на условленное место и вышла на улицу.

Вечер был совсем синий и теплый. Люди шли вниз, к Москве-реке, посмотреть на новый мост. И я пошла туда.

Вчера еще здесь, перегораживая улицу, стояли глухие заборы. Почти год был и сипел за ними паровой молот, жужжали электрические моторы. Оттуда выезжали, толча мокрую глину, грузовики; на них сидели люди в брезентовых спецовках. Ночами там горело так много ламп, что звезд не было видно над рекой. Неусыпно шло строительство.

Прежде здесь наша улица, неуклюже вильнув вбок и юркнув в узкий решетчатый туннель моста, кое-как перебиралась на другой берег. А сегодня все тут было неузнаваемо. Забор убрали, и наша улица, расширившаяся, укатанная, посыпанная свежим песком, вдруг легко взлетев, не сужаясь и не кривясь, прыжком перекинула через реку. Это выгнулся над Москвой-рекой огромный новый мост.

Я не сразу заметила, что стою уже на нем, — так он был широк, так полого и просторно принял он на себя нашу улицу.

На мосту уже горели круглые матовые фонари; чугунные мачты их были увиты красными лентами. Еще ходили с кистями маляры, докрашивая толстую фигурную решетку; еще просили не скопляться и проходить, не толкаясь, милиционеры; еще разъезжал на своем тяжелом утюге взад и вперед закоптелый парень, красуясь перед народом послушной силой своей машины, разглаживая дымящийся асфальт, а посередине уже легко мчались машины, и люди прогуливались по мосту, переходя с берега на берег.

Я подошла к краю и остановилась у перил, еще пахнущих свежей краской. Внизу, под моими ногами, мчались по набережной машины. Чуть-чуть левее далеко внизу, наверно очень глубокая, отражала огни вода. Небо было светлое, светлее воды, и за поворотом реки резко на небе выделялись высокие башни Кремля. Город был хорошо виден отсюда. С каждой минутой в нем зажигалось больше и больше огней, и небо становилось розоватым. Это всходило над Москвой праздничное зарево, зажигали первомайскую иллюминацию.

Я стояла у перил, смотрела вниз. «Вот бы броситься отсюда... Какой бы завтра шум поднялся в школе! Попало бы ребятам за нечуткое отношение ко мне». Но бросаться ни капельки не хотелось — вечер был тихий, а мост такой